

Максим Горький

# Ванька Мазин



# Максим Горький

## Ванька Мазин

[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=624095](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=624095)

### Аннотация

*«Его называли Разгильдяем, Комариной тоской, – всё это как нельзя лучше шло к нему и, очевидно, нимало не трогало его самолюбия, ибо он на все клички охотно отвечал своим апатичным и сильным голосом:*

*– Што те?»*

# Максим Горький

## Ванька Мазин

Сдавленный с боков и удлинённый череп, с оттопыренными большими ушами, жёлтое, апатичное лицо, с рыжими кустиками волос на скулах и остром подбородке, меланхолично выпученные, неподвижные и бесцветные глаза, длинный нос, отвислая нижняя губа и большой, всегда полуоткрытый рот; шея, тоже длинная и вся в узловатых жилах, плечи опущены книзу, грудь ввалилась, живот выдался вперёд, как у беременной женщины, левая рука заметно короче правой, а ноги изогнуты колесом; на голове этой неуклюжей фигуры висит рыжий картуз с чёрной заплатой посредине и с изломанным козырьком; картуз велик, и для того, чтоб он не падал на глаза, его вешают на левую сторону длинной головы, он держится на раковине уха и на клочьях густых желтоватых волос, склеенных пылью и грязью до плотности войлока; пестрядинная рубаха, вся в заплатках, болтается на этом уродливом теле как-то особенно неприглядно, порты слишком широки для сухих и тонких ног, онучи растрёпаны, и лапти разбиты. Вот вам точный портрет Ваньки Мазина, плотника-вятича, созданного природой как бы специально ради олицетворения понятия о несуразном человеке да для потехи и развлечения ближних своих.

Ванька Мазин с большим успехом служил последней це-

ли, – ещё издали, видя его, товарищи по артели смешливо восклицали, кивая головами в его сторону:

– Чёртова карета едет!

Я никогда не видал чёртовой кареты, но при виде Мазина, передвигающегося по земле, мне всегда казалось, что из его тела вытянуты все жилы и от этой причины у него образовалась такая странная походка: ноги, прежде чем двинуться вперёд, сначала откидывались вправо и влево, точно они желали осведомиться, нет ли где в стороне более ровного и лёгкого пути для их несуразного хозяина; руки вяло болтались по бокам развинченного и сутулого туловища, голова неустанно тряслась в безуспешной борьбе с картузом, съезжавшим на нос, нос громко храпел и шмыгал, пещер с инструментами сбивался со спины на бока; но при всём этом меланхоличные глаза Мазина оставались неподвижными, устремлённые куда-то глубоко в даль, точно они жили жизнью совершенно отдельной от жизни развинченного тела.

Он имел смешную привычку всегда мурлыкать себе под нос какую-то песню без слов и, должно быть, без конца; он и на ходу не бросал этой привычки, он шёл, пел, фыркал носом и действительно представлял некоторое подобие старого, ржавого, скрипучего экипажа, растерявшего от долгой работы все свои гайки и скрепления.

Его называли Разгильдям, Комариной тоской, – всё это как нельзя лучше шло к нему и, очевидно, нимало не трогало

его самолюбия, ибо он на все клички охотно отвечал своим апатичным и сильным голосом:

– Што те?

По паспорту ему было сорок семь лет, но даже молодые парни в артели звали его Ванькой и очень редко – по фамилии. Уничжительная кличка тоже нимало не трогала его; он был глубоко равнодушен к своим товарищам, любил уединение и умел быть одиноким среди компании.

Когда, в праздники, артель шла всем составом в трактир пить чай, он тоже шёл, если его звали, но, сидя за чаем и за бутылкой водки, он всё равно оставался таким же молчаливым и меланхоличным, каким был всегда. Но, несмотря на это, было бы несправедливо назвать его нелюдимым: нет, он скорее походил на человека, задумавшегося над чем-то неразрешимо мудрым и склонного к тихому умопомешательству. Его широко открытые глаза, смотревшие как-то точно сквозь стены и людей, уже с первых дней его вступления в артель навели дедушку Осипа, артиста-плотника и Нестора артели, на такую мысль:

– Вятич-от, видно, того... нездоров душой-то... Глаз у него не играет, око мёртвое...

Н-да! Значит, того... или он замаян жизнью своей, или совесть у него не энтото... нечиста, стало быть... С пятном, значит... А от этого глаз-от у человека застилает, пятно-то с души на глаз и падает... У которого человека глаз бегаёт, – тоже нехорошо, – беспокойство, значит, есть на душе... от

совести али от думы какой, а и у которого омертвел глаз, тоже плохо... Ежели человек состоит в своей полноте и внутри чист, – у него глаз прямой... смотрит себе прямо на всё и светится, играет, значит... н-да... Стало быть, вы, ребята, того... за вятичем-то надзирайте, как бы чего не было: человек он нам неизвестный...

Ребята всей артелью стали следить за поведением человека с мёртвыми глазами и на первых же порах усмотрели, что он – очень плохой работник. Ремесло он знал, но топор, пила и рубанок в его длинных руках действовали плохо, железо как бы пропитывалось апатией человека и, обрабатывая дерево, не звучало с такой гордой силой, как звучало оно в руках других работников. Иногда среди работы Мазн вдруг останавливался и, молча рассматривая инструмент, о чём-то думал над ним.

– Ты! Мухомор! Задремал?! – сурово окрикивал его десятник.

Мазн молча принимался за своё дело.

– Он у нас неторопливый человек, – презрительно посмеивались ребята.

– А куда торопиться? – серьёзно спрашивал Ванька Мазин и ждал ответа, глядя на ребят.

Они смеялись, дразнили его; он оставался неуязвим, скрытый от колкостей и грубых выходок за своим равнодушием.

Не любили его. Он один был вятский среди артели ниже-

городцев, он был плохим товарищем, ленивым, неинтересным, не артельным человеком. Но, смеясь над ним, его не трогали особенно грубо, ибо знали, что он, несмотря на свою изломанную кость, силён. Узнали это так.

Однажды на стройке человек шесть несли здоровое бревно; Мазин стоял под самым комлем.

– Не качай! – кричали ему передние. Но он не мог идти нога в ногу с ними, – его кривые ноги не позволяли ему этого, и бревно «толкалось».

– Колченогий дьявол, ровней иди!

Он покряхтывал, – старался примениться к шагу товарищей, и бревно ещё более толкало их.

– Росомаха чёртова! – крикнул коренастый Яков Лаптев, один из силачей артели, и ударил Мазина длинной и тяжёлой щепой ниже спины. Мазин крикнул и, не сказав ему ни слова, пошёл дальше. А когда бревно отнесли куда было нужно, он воротился к месту, где работал Яков, остановился перед ним и спокойно спросил его:

– Ты пошто дерёшься?

– У-уйди! – злобно крикнул Лаптев.

– Ты начальство, чтобы драться? – допрашивал Ванька.

– Не приставай, говорю! Убить тебя, паука косолапого, и то мало!

– За што? – осведомился Ванька.

– Дай ему в рыло, Яков! Чего он лезет... – посоветовали Лаптеву. Он послушался, размахнулся и... опрокинулся на

спину от удара по лбу, неторопливо нанесённого Ванькой.

Артель удивилась, – люди чтут силу, в каких бы формах она ни проявлялась. Лаптев считался силачом и не мог сразу уступить свою славу вятичу. Он встал с земли и, засучивая рукава, зловеще сказал Ваньке:

– Готовься... сейчас я тебе рёбра испорчу...

– Ну... – неопределённо произнёс Мазин.

– Раздайся, братцы, не тронь их, – скомандовал дедушка Осип. – Не тронь, пускай разом сшибутся... дело правильное... валяй, ребята, но штобы по совести... без подвоха...

Господи, благослови! Р-раз! О-о?!

«Раз» получил Ванька в левый бок, а Лаптев снова поднялся с земли и уже с удвоенной злобой смотрел на своего противника. Тот дожидался его, вздыхая и почесывая ушибленный бок левой рукой. Лаптев горячился и нападал. Ванька спокойно действовал своей длинной правой рукой, аккуратно сшибая противника с ног ударом по лбу сверху вниз. Со стороны казалось, точно он гвозди вбивает в голову Якова. Семь раз ложился Лаптев и на землю и в последний раз, уже не вставая, начал ругаться:

– Облом чёртов! Что ты по башке-то бьёшь! Мало тебе, кособокому лешему, места на мне?

Кикимора так кикимора и есть, – даже драться и то не умеешь по-человечески...

И вся артель признала, что хоть и силён Ванька, но драться не умеет. А Ванька обратился к сражённому противнику с

речью. Он, внушительно подняв вверх правую руку со сжатым кулаком, сказал Лаптеву:

– Понял, как оно драться-то? Во! Да ищѐ я жалел тебя, а то бы и не так... Другорядь не наскочишь... а голову-то студѐной водой помочи, она и пройѐдет... Не больно болеть-то будет... Намочи-ка. – И, замурлыкав, по обыкновению своему, какую-то бесконечную мелодию, он пошѐл прочь от места действия.

Ну и чѐрт! – восклицала артель, изумлѐнная событием. Лаптев был такой коренастый, широкогрудый, здоровый и весѐлый, а этот обломок!

– Видали? – говорил дедушка Осип. – Вятский-то правильно объяснился... Он с сердцем человек... он, того, обижен богом, но Якову сказал правильно. Не наскакивай, не задевай зря-то... Все человеки... зачем друг на друга лезть? Это вятский хорошо поступил: побил человека за дело, и говорит ему, – поди, говорит, помочи голову-то. Это – тоже со смыслом сказано! Вот он и вятский... И помяните моѐ слово – ещѐ он себя не так нам объяснит...

– А хорошо бы его из артели-то турнуть... – заявили ребята.

– Не артельный человек... Это верно, – задумчиво сказал дедушка Осип. – И отчего это он такой?.. Турнуть... это того... надо подождать... может, он что ещѐ объявит... приладится к нам...

– Да что в нём толку-то? – протестовали ребята.

– Ленив, это так... Плохой совсем работник... это уж как есть... Но ведь, братцы мои, опять же и ему надо пить и есть и подать платить! Как же? Крестьянин ведь тоже... как же это турнуть? Мы турнём, другие турнут... где же он пить-есть достанет?

Больше дедушке не возражали, и Ванька Мазин остался в артели. Сначала ждали, что он приладится, потом сами приладились к нему и, хотя считали его хуже всех как по работе, так и по характеру, всегда трунили над ним, – и часто очень зло, – но вопрос о том, чтоб турнуть его, более уже не поднимался. Привыкли и к его ленивой, но всегда основательной и чистой работе, за которую он получал два рубля в неделю на харчах подрядчика.

Он был паршивой овцой в маленьком человеческом стаде: положение вполне определённое, ибо в каждом стаде людей необходим человек, недостатки которого оттеняли бы достоинства стада, – достоинства без этого условия мало заметные, плохо выдающиеся.

Однажды, на постройке четырёхэтажного дома богачу купцу Смурову, плотники работали над установкой лесов, сетью окружавших три уже выложенные этажа дома. Требовалось приспособить леса для кладки четвёртого этажа.

Около обеденного часа на стройку явился сам подрядчик Захар Иванович Колобов, тучный человек, с красным лицом и большой, рыжей, тщательно расчёсанной бородой. Всё сразу охватившим взглядом острых серых хозяйских глаз он

сосчитал бывших на работе плотников, усмотрел Мазина, неторопливо тащившего вверх по лесам какую-то доску, и вознегодовал.

– Эй, ты, мокрица! Ползи быстрее... У, чёрт косолапый! Дармоеды окаянные...

Плотники поняли, что хозяин не в духе, и удвоили рвение, но это, конечно, ни к чему не повело, – подрядчик ругался не потому, что ругаться следовало, а потому, что ему этого хотелось.

– Али я вам, олухам, не говорил, чтобы лесу нового на настилку не брать? чтобы жерди новые на настилку не пилить? Трать старый лес!..

– Жидки леса-то, Захар Иванович, – скромно и почтительно заметил Яков Лаптев.

– Что ты понимаешь, тупое рыло? – орал Колобов. С полчаса он нагонял страх на своих подданных, наконец они стали собираться обедать, а он, осторожно ступая по доскам, пошёл на леса.

– Экой облай-человек, – ворчал дедушка Осип.

– Толстый деймон, – втихомолку ругался Лаптев.

Другие ребята вторили им, а Мазин молчал, неторопливо собирая свои инструменты.

– Идёмте, что ли? – сказал дедушка артели, столпившейся вокруг него. – Чего ждать?

Чтобы он слез оттуда да опять всех обляял? – И дед кивнул головой на леса.

Пробуя рукою стойки и ногами – прочность настилки, Колобов стоял на третьем этаже лесов. Когда он упирался в дерево, слышно было, как скрипят его сапоги. Плотники искося посмотрели на него и дружно двинулись обедать.

Тогда в воздухе раздался тонкий скрип, – скрип гвоздя, вырываемого из дерева, и треск раскалываемой доски. Дедушка Осип обернулся назад и, странно подпрыгнув на месте, крикнул:

– Братцы!

И вместе с его криком в воздухе раздался скрип и треск ломавшегося дерева, грохот падавших досок и отчаянный вой:

– Спас-сай-ай!

Плотники замерли на месте. Леса падали, – стойки медленно, не торопясь, отклонялись от стены, точно она оттолкнула их; на землю сыпались доски, щепы, кирпичи, поднялось облако пыли, и из него раздавались безумные крики Колобова:

– Батюшки! Ба... ай!

Дерево трещало и падало, плотники бессмысленно смотрели на свою разрушающуюся работу и, боясь подойти ближе к стройке, мялись на месте, слушая укоры дедушки Осипа.

– Говорил я... братцы: крепи гвоздями – вот! Не послушали... погубили душу! Ведь разбился, чай! Ах ты, мать пресвятая! Чего стоите? Стоите чего, демоны? Идите... тащите

его... А! Ах ты, господи! Идите, говорю, псы! А?

– Чего уж очень-то? – угрюмо сказал Лаптев. – Не кто виноват... Сам он говорил: лес бери старей...

– Гвоздей-то не было... не давал он! – крикнул кто-то.

– Али мы виноваты? – ворчливо заявил другой.

– Так погибать ему за это? а? Погибать?

Дедушка Осип суетился среди артели, весь красный от возбуждения, и дрожащими руками толкал и дёргал ребят.

А леса, одна стойка за другой, пошатывались и, скрипя, отходили от стены дома. И с них всё летели на землю кирпичи, доски; упал и покатился по земле какой-то ушат, сыпалась известка, окружая катастрофу облаком белой пыли. Криков Колобова не было уже слышно.

– Ин пойду я, – задумчиво глядя в облако пыли, сказал Мазин и пошёл...

– Не ходи! Убьёт! – крикнули ему.

– Не тронь! Иди, Ваня! иди, друг... для господи иди!

Но он шёл и без поощрений дедушки Осипа. Шёл, как всегда, неторопливо и покачивался с боку на бок на своих кривых ногах.

Уже собралась густая и шумная толпа народа, и среди неё хлопотливо бездействовали двое полицейских. Облако извести рассеялось и обнаружило безобразный остов разрушенных лесов, – всюду торчали доски, жерди, иные ещё покачивались, точно не решаясь упасть на землю.

Одна доска, высываясь из окна дома, качалась сильнее

других, ибо на конце её лежал Колобов. Он охватил доску руками и ногами, прильнул к ней головой и животом и так висел в воздухе. Другой конец доски был защемлён в груде навалившегося на него дерева и упирался в колоду окна. Доска была защемлена крепко, но она могла переломиться, или человек, прицепившийся к ней, мог лишиться сил, выпустить её из рук и упасть на землю, на острые обломки дерева, с высоты почти трёх этажей. Но пока он лежал на ней смиренно, молча, точно сросшись с деревом.

Когда публика увидела эту картину, она на минуту смолкла и затем разразилась с удвоенной силой шумом, в котором выразила все свои чувства от ужаса и до любопытства. Потом стали советовать друг другу:

– Брезент надо растянуть на руках, и пусть он в брезент прыгнет...

– А ежели он без памяти?

– Войти в дом и тащить доску назад в окно.

– А она переломится...

– Да просто подпереть её!

– Ну-ка, подожди! Достань чем...

– Гляди! Глядите!

В окне стоял Мазин с верёвкой в руках и, должно быть, что-то говорил, ибо губы его двигались. Публика умолкла.

– Захар Иваныч! Слышь? Я, мол, брошу тебе верёвку, а ты её петлей-то захлестни за конец доски! Понял, ай нет? Держи!

Верёвка развернулась в воздухе и упала на тело Колобова. Он медленно, тихонько пошевелинулся, – доска закачалась. Раздался стон.

– А ты не робей, Иваныч! Твори молитву про себя и действуй! Господь не попустит, чтоб без покаяния... – кричал снизу дедушка Осип. Публика тоже ободряла Колобова, и он, после долгих усилий, надел на конец доски петлю веревки...

– Ну, теперь лежи спокойно, – сказал Мазин и исчез из окна. Верёвка натянулась вслед за ним, и доска начала потихоньку подниматься.

– Ай Ваня! – ликовал дедушка Осип, сообразивши план Мазина. – Черти! Идите, помогите парню-то! Ай да Ваня! Братцы, идите!

Несколько человек бросилось в дом, и вскоре доска уже была поднята так, что к окну образовался наклон. Тогда в окне вновь явился Мазин.

– Теперь, Захар Иванович, съезжай назад на брюхе-то! Валий полегоньку, выдержит... она здоровая, доска-то... Пятясь раком... ну...

Хотя опасность ещё не миновала, – ибо доска могла переломиться, – но среди публики уже раздался смех. Колобов, весь покрытый пылью, с разинутым ртом на сером лице и с безумными глазами, полз на животе по доске, и эта картина действительно была лишена трагизма.

Осторожно перебирая руками, он то съёживался в большой шар, то растягивал своё тело.

Ноги у него срывались с доски и отчаянно болтались в воздухе, доска прогибалась, – тогда он замирал на месте, прижимался к ней и громко, жалобно мычал. Всё это смешило публику, и чем ближе подползал подрядчик к окну, тем громче смеялись над ним.

– То-то, чай, заноз у него в брюхе! – весело воскликнул какой-то рыжий маляр.

– Небось, с аппетитом поешь теперь!

– Он всегда аппетит с собой имеет. Нашего брата и послая обеда поедом ест! – сострил Лаптев, чем-то обрадованный.

Но вот Колобов дополз до окна и исчез в нём. Потом он явился перед публикой, ведомый под руки двумя какими-то людьми, оборванный, потный и грязный. Он едва переставлял ноги.

Его посадили на извозчика и увезли. Публика стала расходиться, несколько человек окружило Мазина и расспрашивало его, как это он догадался снять хозяина. Он стоял с веревкой в руке и объяснял:

– Так уж... Доска тут главная вещь... Пора обедать идти мне...

– А ведь могло убить тебя, как ты пошёл?..

– Нет, не убило вот... Наши ребята ушли, видно...

– Вот он! Ванюха! А мы тебя ищем! Где, мол, он? А он – вот он! – кипел дедушка Осип, являясь пред Мазиным. – Обедать айда... Как господь-то помог тебе, а? Это, брат Ваня, господь! Его сила... Потому доска – какая она? Значит,

не захотел он, батюшка, чтобы человек без покаяния расшибся... Конечно, и ты, и верёвка... Это тоже того... но ты не гордись...

Мазин шёл рядом с мудрым дедушкой и шмыгал носом, равнодушно слушая его.

– Не тронуло тебя?

– Нет... По ноге задело раз...

– Больно?

– Ничего, больно... Чай, пройдёт...

– Водкой притереть надо...

Мазин помолчал и сказал:

– Водку-то лучше выпить... – Потом добавил со вздохом:  
– Ежели бы была она...

– Будет! – радостно пообещал дедушка Осип. Пообедав и выпив по стаканчику, артель стала ожидать распоряжений подрядчика относительно лесов.

– Чай, сойдёт скоро, – поглядывая в потолок, хмуро сказал Лаптев.

– Сойдёт, известно... ругаться будет, скажет, что – псы, убили было меня! – заявил молодой парень Афоня и покорно засмеялся.

– А как? – спросил дедушка Осип. – И надо ему ругаться, потому есть в этом деле наша вина. Хоть лес был и трёпаный, однако у нас есть и глаза и руки... Вот у него и причина к ругани...

Поспорили с дедом и согласились, что хотя на леса шёл

материал старый, стойки были составные, гвоздей не хватало, однако и с их стороны был недосмотр, а коли так, – значит, Колобов вправе ругаться.

– Совсем пустой разговор это, – скептически заметил Лаптев. – Нужна ему причина! Да он и без причины довольно даже ловко лается...

На этом порешили. И ошиблись.

Захар Иванович явился к артели солидный и важный, и, ещё когда он переступал через порог, плотники увидали, что ругаться он не хочет.

– Где Иван? – спросил он.

Иванов в артели было трое; двое из них поднялись со скамьи, на которой сидели, и вопросительно взглянули на подрядчика.

– Тот где? – нахмурился Колобов.

– Вятской? Он на нарах... дремаит немного. Иван, а Иван!.. Ну-ка, хозяин зовёт...

Мазин замычал, зевнул, слез с нар и пошёл к подрядчику. Колобов вобрал в себя так много воздуха, что у него всколыхнулся живот и надулись щёки.

– Ну, Иван, – неторопливо начал он, – буду я к тебе речь держать... Как оказался ты из всех этих идиолов самым сметливым парнем... и что я без тебя погиб бы, может, – потому что ведь это кто? Что за люди? Дерево... обломы, без сообщения... Ну, и выходит, что я тебе – обязан и что ты мне спас жизнь... Понял? Ну вот... и хочу я тебя поблагодарить

от всей души... Так-то...

Колобов обвёл артель укоризненным взором и увидел на лицах плотников общее всем им выражение любопытства и ожидания...

– Что, черти, выпучили зенки-то? Думаете, ежели я дам Ивану награду, пропить её с ним? Ну-ка, напейся который, – целковый штрафу! Поняли? А ты, Иван, им не давай ничего...

Они соображают уж... ишь, оскалились все на твои-то деньги! Эх, вы... видите – не умён человек, и опиваете его? Ты, Иван, пошли деньги на подать или что, а им – шиш!

– Какие деньги? – спросил Иван.

– А вот сейчас... На вот... спасибо тебе!

Захар Иванович сунул в руку Мазина трёшницу и смотрел на него с видом великодушия и ожидания. А Мазин пристально смотрел на бумажку в своей руке.

– Это, стало быть, мне? – спросил он, задумчиво растягивая слоги.

– Чудак! Конечно...

– Мм... стало быть, за то, что я лазил с верёвкой... и вообще...

– За это самое, тугой человек! – усмехнулся Колобов. Его забавляла апатия и глупость Мазина.

– Да разве я это за трёшницу? – спросил Иван Мазин. Он стоял, понуро опустив голову на грудь, всё ещё рассматривая бумажку и не поднимая глаз на подрядчика.

– Что же – мало, что ли? – сухо усмехнулся Колобов и сунул руку в карман брюк. Иван исподлобья взглянул на него и потом, медленно подняв голову, вздохнул. Лицо у него подёрнулось, и он сделал ту же гримасу, которую делал в тех случаях, когда мясо во щах было чрезвычайно тухло или капуста слишком уж сильно пахла гнилью.

– Так ты думаешь – я за трёшницу? Возьми-ко её... на! Глупый ты человек, Захар Иванов... Ишь ты, ведь трёшницу дал! Неужто ты не понимаешь, что я из жалости к душе твоей полез за тобой, а не за трёшницей? Я старался, чтобы ты без покаяния жизнь твою не кончил, а ты – на-ко! Ка-ак дам я тебе в ухо за эту твою награду! Ступай от греха... ступай!

Противен ты мне...

Говорил он сначала, как всегда, – медленно и задумчиво, а в конце речи повысил тон и как-то зарычал. Ошеломлённые плотники во все глаза смотрели на него, дедушка Осип улыбался чему-то, а Колобов даже побледнел от неожиданности.

– Что-о? Ты! Мне в ухо? Гонишь меня? Ты? – заговорил он, задыхаясь от изумления. – А ты, ты, старый чёрт! Смеёшься?

– Уйди, мол, Захар Иванов! Смотряй – не шути! – рыкнул Мазин. – Иди... давай мне расчёт!

– Так! – громко сказал дедушка Осип.

Колобов снова растерялся. Вся артель смотрела на него – смотрела уже холодно и враждебно, и он чувствовал, что его обаяние, как хозяина, вдруг исчезло куда-то. Но уйти он

не решался, – что-то не пускало его. И, стоя пред своими работниками, он криво усмехался, повторяя:

– Та-ак! Ловко! А ну-ка, ещё! Ну? Скажи слово!

– Я скажу! – произнёс Иван. – Я только не умею... но врыло я бы тебе закатил! Уйди, мол! не марай мне глаз!

– Так! – воскликнул дедушка Осип.

– Н-ну, черти, хрощ-шо! Я вам... дам! Я вам покажу!

Но он чувствовал, что ни дать, ни показать ему нечего. И вдруг, повернувшись, исчез.

– Так, Ваня! правильно! – неистово восклицал дедушка Осип, завертевшись вокруг Мазина. – Хорошо! И очень просто! А? Трёшница? Вр-рёшь! Не везде ей одержать верх возможно, трёшницей-то! А ты думал – возможно? Ваня – хорошо это! Доказал ты ему!

И вся артель понимала, что уродливый Ванька Мазин доказал что-то хозяину, и хорошо доказал. Все смотрели на него, как на диковину, – с любопытством и с некоторой дозой боязни. Может быть, в нём осталось ещё что-нибудь и на их долю? Но он уже снова воплотился в знакомую им придурковатую форму лентяя Ваньки Мазина и стоял перед ними, как всегда, равнодушный, как всегда, вялый и тупой.

Вечером Мазин и дедушка Осип, рассчитанные подрядчиком, сидели в трактире и пили чай.

Мазин молча жевал белый хлеб, а дедушка Осип объяснял ему его поступок.

– Стало, быть, он душу тебе задел этой своей бумажкой.

Ты полез туда и мог получить увечье, а то и смерть. Зачем полез? Из жалости к человеку... Он тоже ведь человек, душа одна у всех... Ну вдруг он – трёшницу тебе... Как же это можно? Что трёшницей покроешь? У тебя в этом деле вся твоя душа, а у него – всего одна трёшница? Али это не обида? а?

Ванька Мазин с усилием проглотил хлеб, набитый за обеими щеками, и, взявши в руки стакан с чаем, медленно выговорил:

– Напрасно я его не двинул легонько... За волосы бы оттащить его хоть, што ли... Да жалко уж больно стало... Дурак он, вижу я... Ну, и – пускай его!

Он махнул рукой и стал громко схлёбывать чай с блюдечка, причём каждый глоток заключал вкусным чмоканьем.